# Мои любимые дядюшки

# Туве Марика Янссон

Как ни уставали они, должно быть, временами друг от друга, все же крепкая сплоченность объединяла детей проповедника Фредрика Хаммарстена[[1]](#footnote-1): четырех мальчиков и двух девочек. Дочки очень быстро вышли замуж и уехали в другие страны — так далеко, что думать о них можно было безо всяких огорчений или досады. Однако же Торстен, Эйнар, Улоф и Харальд продолжали жить в Стокгольме, где Дедушка-Отец Мамы читал проповеди в церкви Святого Якоба. Возможно, они были слишком близки друг другу, чтобы постоянно общаться, но они не могли обойтись без того, чтобы не быть в курсе всевозможных забот и хлопот более или менее бестолковых своих братьев.

Сестра Ева вышла замуж за священника и уехала в Германию, а мама вышла замуж за скульптора и уехала в Финляндию. Она подписывала свои рисунки «Хамм», но дядя Эйнар называл ее «Сигне».

Я знала, что во времена их молодости, когда дядя Эйнар учился, наиболее интенсивно опекала его и его занятия именно Хамм. Она же следила за тем, чтобы ничто из его ресурсов и возможностей не пропадало даром. А занималась она этим неутомимо, заботливо и честолюбиво, стремясь сохранить его доверие к себе.

Потом она уехала. Какой триумф, должно быть, она пережила, узнав, что дядя Эйнар стал профессором в области фармацевтики в Каролинском институте. У нас не было телефона, но он много писал и рассказывал обо всем.

Мама никогда ничего не говорила о своей тоске по дому, но частенько, как только представлялась такая возможность, меня забирали из школы, чтобы переплыть море, встретиться с ее братьями и узнать, как они поживают, и рассказать, что происходит с нами. А самое важное было — встретиться с дядей Эйнаром и попытаться составить себе ясную картину того, как обстоят дела с его научной работой.

— Дела идут неплохо, — отвечал он. — Передай привет Сигне и скажи: по-моему, моя работа движется в нужном направлении, Но очень медленно.

— Но как? — спрашивала я, сидя наготове с пером и бумагой.

Дядя Эйнар как-то задумчиво посмотрел на меня и очень благожелательно ответил, что раковая болезнь может быть подобна жемчужному ожерелью, ведь если отделить жемчужины друг от друга, все ожерелье рассыплется.

Я чуть-чуть обиделась на дядю Эйнара: он, вероятно, думал, что я еще ребенок. Но на следующий день дядя Эйнар сделал рисунок для мамы.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, произошло великое переселение; наконец-то я перестала ходить в школу, уехала в Стокгольм и стала жить у дяди Эйнара и тети Анны-Лисы, пытаясь в то же время овладеть своей будущей профессией. Я переселилась в новую жизнь. Лишь постепенно возводила я вполне законченное здание своей тоски по дому, но это не мешало мне быть счастливой, уподобляясь, например, воздушному шару, потерявшему веревочку.

Дядю Эйнара окружал нимб, который я называла словом «ореол». Он мог излучать одобрение или неодобрение, он сиял или отбрасывал тень, и все это — без единого слова. Он был непреклонен лишь в одном. И это единственное заключалось в том, чтобы выполнять свою работу всеми средствами, которые были в его распоряжении; отдавать работе все свои силы, время и внимание и, кроме того, то желание, которым, казалось, обладал только он. Дядя Эйнар мог прийти домой из Каролинки[[2]](#footnote-2) крайне огорченным и разочарованным: он опять плохо повел себя и выказал признаки честолюбия, стремясь привлечь к себе внимание легким путем — все равно с чьей стороны, — а хуже всего то, что пошел на поводу у популистских писак ради их гонорара. То, что они молоды, — не оправдание, но именно эти бедняги обожали дядю Эйнара больше всех! Если бы они только знали о том, что он осмеливался фыркать по поводу Нобелевской премии, несмотря на то, что сам участвовал в ее присуждении!

Я продолжала работать, и каждый раз, когда у меня что-нибудь получалось, я бежала к дяде Эйнару и показывала ему.

— Хорошо, — говорил он. — Продолжай. Ты же знаешь, как это делается. Ты должна продолжать трудиться, как маленькая зверюшка, и тогда ты сможешь поехать домой и помогать Сигне.

И я трудилась, все больше, больше и больше; процесс этот казался бесконечным.

Дядя Эйнар и тетя Анна-Лиса жили у северного берега озера Меларен, на улице Норр Меларстранд. Это была очень красивая улица. Дома в каждой комнате стояло совсем немного мебели — два-три предмета. Новая же красивая жизнь придавала мне сознание незаслуженного превосходства, но я держалась все-таки скромно благодаря тому, что не позволяла себе забывать: талант никогда не может служить извинением за высокомерие и превосходство.

Иногда я ездила поездом в Веллингбю, где жил дядя Торстен со своей большой семьей. Едва я входила в дом и стряхивала с себя снег в прихожей, полной лыж и сапог, в дом, где было тепло, а радио включено на полную громкость, дядя Торстен кричал: «Привет, дорогая племянница, как идут дела в высших сферах? Входи и постарайся быть такой, как всегда, если получится. А как поживает мама?»

Он не думал, что я слишком забочусь о том, какой мне быть: такой или иной, что это все-таки выглядит неважно со стороны, потому что речь может идти совсем о других вещах, о которых сначала и не думаешь. А вообще следует остерегаться нечистой совести как заразы, потому что она прочно въедается и все растет и растет до тех пор, пока уже и не помнишь, почему ты вдруг так плохо себя почувствовал. Я записывала все, что он говорил.

Бывает трудно походить на того, кем восхищаешься, но никто даже и не осмеливается пытаться быть похожим на дядю Торстена, потому что он ни с кем не сравним! Уже в юные годы было ясно, что он станет горным инженером. Он любил взрывы. Он любил заставлять людей вздрагивать и делал это мастерски. Так было, например, когда он сверлил каналы в точильном камне, заполнял их порохом и поджигал в дедушкиной печке, а камень вылетал в окно и падал в теплицу соседа. Я могла бы рассказать об этом куда больше!

Тетя Лиса говорит, что он грозился написать свои мемуары, но думаю, ничего из этого не выйдет.

Особенно удачные времена, были, пожалуй, когда его послали в Америку, как блудного сына, где он, между прочим, сторожил рыбу на Аляске и совершал сделки с индейцами, это было необыкновенно напряженное время.

Однажды, еще до совершеннолетия, я получила в подарок от дяди Торстена колечко с настоящим маленьким бриллиантом. Он привез его контрабандой в Хельсинки (хотя тогда у нас даже не было войны) — он очень ловко пробуравил тайник в одной из семейных книг псалмов.

Но не думайте, что дядя Торстен был единственным авантюристом в нашем роду! Дядя Эйнар мог, вопреки всем своим принципам, в обычный рабочий вечер постучать в мою чердачную дверь и крикнуть: «Кончай работу! Мы идем в цирк, такси ждет!»

Тетя Анна-Лиса ходила вместе с нами каждый раз, но я никогда не была уверена в том, что она любит цирк. Она аплодировала очень медленно, не снимая перчаток; я старалась поступать так же.

Трудно объяснить, какой любовью любила я тетю Анну-Лису, возможно, это чувство было чуть меньше, чем любовь, но конечно же больше, чем восхищение и уважение. Ее имя было собственно Лилльехёёк[[3]](#footnote-3), а она в шутку называла себя Лерёк[[4]](#footnote-4). Дядя Эйнар считал, что это смешно, а по-моему, это глупо.

Но как бы то ни было, тетя Анна-Лиса была леди. Никогда не допускала она никаких, даже самых незначительных, преувеличений ни в выборе слов, ни в тоне, ни в одежде. Ее жемчужинки-остроты были мелкими, но подлинными.

Иногда я понимала, что всякий раз, когда я употребляла неправильное слово не в том месте и не в то время, эта неловкость, скорей всего, ранила ее как маленький нож, и тогда она закрывала глаза и улыбалась усталой улыбкой, но никогда ничего не говорила, ни единого раза.

Стать настоящей леди, наверное, невероятно трудно, почти невозможно, ею надо родиться. Когда я вела себя особенно плохо, я покупала большую азалию, чаще всего белую или розовую, и ставила ее на пол в середине гостиной.

Один раз я спряталась за занавеской и стала ждать, пока дядя Эйнар придет домой. Он резко остановился, обхватил голову руками и шепнул: «Нет — только не теперь...»

Это было до того, как он переделал гостиную в большой аквариум для тропических рыб, получилось изумительно красиво, особенно когда я разрисовала стены для драматического фона. Но однажды аквариум взорвался, когда никого не было дома. А у дяди Торстена вовсе не было никаких оснований звонить нам и спрашивать, не едим ли мы сейчас эту рыбу, — очень даже глупо...

Впрочем, после этого дядя Эйнар переделал гостиную совсем по-другому. Она превратилась в изумительный ландшафт для электрического поезда, там был даже настоящий водопад, который функционировал днем и ночью!

Он сделал это как раз тогда, когда должна была родиться кузина Улла, и когда она появилась на свет, он послал в больницу целый цветочный магазин — он просто ворвался туда и закричал: «Пошлите все, что у вас есть, и побольше орхидей!»

А потом только и слышалось: «Улла сюда, Улла туда», с утра до вечера только «Кузинулла». Она росла и стала очень славненькой, но вообще-то это была необычайно плаксивая девочка, она не любила ни электрический поезд, ни цирк, хотя и научилась аплодировать.

Прежде чем я начала беспокоиться о том, что я несправедлива, я продолжала любить, как всегда, не только дядей со стороны мамы, но в какой-то степени и их жен, а потом вдруг что-то случилось, что разделило моих родственников «за» и «против», и я, разумеется, перестала любить всех, кто неодобрительно относился к дяде Эйнару. Это началось с того, что он решил отпраздновать Рождество в Южной Африке со своей семьей, причем без елки и прочих атрибутов.

Некоторые из жен высказали много чего в связи с этим: что это антишведское выступление и, кроме того, чистое кокетство — впрочем, чего другого следовало ожидать от того, кто утверждал даже, что шведский флаг некрасив?

«Это не Эйнар сказал, — заметил дядя Торстен, — а я!» Но Южная Африка... это звучит просто замечательно; лучше не выразишь свое преклонение перед всем английским и перед заграницей вообще — ведь едешь до тех пор, пока тянется дорога!

Дядя Олоф не интересовался всем этим, а дядя Харальд как раз в это время где-то катался на горных лыжах. Ничто не обещало стать серьезным разногласием, если бы не 8-миллиметровый фильм дяди Эйнара, который он привез с собой из Африки и хотел показать родственникам. Получилось нехорошо: они были вовсе не великодушны. Мне и в самом деле стало стыдно за них. Вся разница в том, как смотреть (разглядывать — это совсем другое, но я еще не продумала все до конца). Они как будто разглядывали чей-то фотоальбом, а ведь перед ними был настоящий африканский фильм!

Дядя Эйнар рассказывал, прокручивая фильм дальше, но от этого они не стали воспринимать его лучше. Я хочу сказать, что они не могли видеть *того, что за кадром, что невидимо*. Например, как дядю Эйнара чуть не съела акула, в то время как тетя Анна-Лиса беспомощно стояла на берегу, или как у маленькой хрупкой Кузинуллы случился солнечный удар в пустыне, и она съежилась почти до величины кукурузного зернышка!

А вообще я могу сказать, что киносъемки дяди Эйнара получились очень удачными, учитывая технические возможности того времени.

Во всяком случае, дядя Улоф заинтересовался жирафом и его прыжками. После представления он вышел в прихожую с дядей Эйнаром, и они разговаривали довольно долго.

Дядя Улоф большую часть своей жизни искал одно насекомое, которое, насколько я понимаю, должно было подтвердить важные выводы в его диссертации. Он преподаватель биологии и живет в Эппельвикене[[5]](#footnote-5) со своей семьей. На вилле есть большой глубокий подвал, который служит ему мастерской, дядя Улоф идет туда сразу после школы и продолжает строить свою лодку. Или он работает там на токарном станке и вытачивает из дерева маленьких зверьков. Однажды на Рождество он выточил Святое семейство, хотя он атеист (но это ведь обычно не становится препятствием).

Никогда не знаешь наверное, действительно ли дядя Улоф не любит, чтобы им восхищались — может быть, втайне это ему нравится. Он избегает сильных выражений; если что-нибудь складывается фантастически замечательно, он говорит, что было приятно, а нечто ужасное он называет «довольно неприятным».

Это меня злило, хотя порой я пыталась быть такой же, но ничего хорошего из этого не получалось.

Иногда в воскресенье мы выезжали на озеро возле Эпиельвикена, и он заводил свой моторчик. Там он искал свое важное насекомое. Я так никогда и не узнала, удалось ли ему его найти. Иногда я думаю, что, может быть, я встретила дядю Улофа слишком рано, и это очень жаль.

Единственное, что немного огорчало меня, так это то, что он не мог поверить в Бога. Из всех дедушкиных сыновей он был единственным, кто просто-на-просто не интересовался этим. Другие могли вести ожесточенные дискуссии «за» или «против», дядя Эйнар иронизировал, дядя Торстен кощунствовал или наоборот, но дядя Улоф просто смущался и шел своей дорогой.

Именно тогда я прочитала Библию во второй раз, чтобы наконец окончательно во всем разобраться, но после этого стала хуже работать в школе и не знала, чему же мне верить. Тогда дядя Эйнар обнаружил Библию у меня под матрасом и сказал, что теперь лучше подождать думать обо всем этом, так как это опасно. Я почувствовала большое облегчение, но все-таки заперлась в ванной и плакала. Тетя Анна-Лиса стояла у двери и обещала мне новое зимнее пальто с мехом, и тогда через некоторое время я вышла.

Это оказалось прелестное пальто с кроличьим воротником.

Интересно, рассуждали ли мои дядья о Боге в летнее время в Энгсмарне? Едва ли. Наверное, речь шла главным образом об общих делах: о мосте, колодце, ягодных кустах, помойной яме и так далее.

Дедушка, мамин отец, еще в XIX веке нашел Энг-Смарн — длинный зеленый луг, который спускался прямо к морю и пляжу в заливе, защищенный горами и лесом. Именно там построили большой дом для всех родственников, там и выросли Хаммар-стены. Они быстро размножались и строили жилища для своих потомков повсюду, где только находили подходящее место, в каждом заливе и на каждом мысу, в море и на пригорке. Все строили по-разному, абсолютно по-своему и как можно дальше от большого дома родственников. Мне очень жаль, что они не использовали ракушки для украшения цветочных грядок.

Дядя Торстен строил сам. Это получилась своего рода мешанина, потому что он все время перестраивал и пристраивал да еще разрешал молодежи строить по своему вкусу.

Но Андерсон, который строил для дяди Улофа, возвел хорошо продуманный бревенчатый дом по старошведскому образцу. Он был тщательно обставлен и украшен так называемыми «Красивыми Вещами На Каждый День» и «Шведским Оловом», там почти ничего не было из его собственной посуды и шкатулок.

Дядя Харальд вообще не хотел строить, ему нравилось ночевать в старой Морской лачуге, служившей прачечной, где в прихожей было место для спального мешка, «на самом краю синей Атлантики» — Харальд знал все песни Эверта Таубе[[6]](#footnote-6) и хорошо пел. Когда он мылся в прачечной, я сидела за дверью, слушала и записывала.

Вилла дяди Эйнара требует пояснений. Собственно говоря, с самого начала никто не думал, что она будет такой, какой получилась. Говорят, что никто не виноват в том, что дела идут плохо, но от этого не легче. Строил дом Андерсон, и делал он это с согласия дяди Эйнара. Он строил и строил, а дядя Эйнар ни разу не заехал взглянуть и поинтересоваться, как идут дела. Вот так и получилось, что в доме оказались слишком узкие окна и слишком большие расстояния между ступеньками лестницы, и вообще вилла была слишком велика и казалась неустойчивой на своей горке.

Не думаю, что дядя Эйнар успел заметить, что в доме что-то не так. Как раз тогда он был заинтересован тем, чтобы все дорожки и тропки в Энгсмарне были покрыты мраморной щебенкой до самого Куэнгена[[7]](#footnote-7). Андерсон занялся этим делом с большим усердием, хотя щебенка почти сразу смешивалась с землей и исчезала. Белые мраморные дорожки должны были выглядеть замечательно. Жаль, что дядя Эйнар не успел их увидеть, прежде чем они исчезли.

Чаще всего он выезжал в Энгсмарн весной, так рано, что там было совсем пусто, или осенью, так поздно, что все уже было закрыто. Он называл эти поездки — «сафари». Прежде всего он покупал омара и фазана, их убирали в холодильник. Он приносил домой множество необходимых вещей, которые могут пригодиться на дикой безлюдной пустоши, а затем начиналась великая упаковка вещей, по строгой системе и очень быстро. Никому не разрешалось помогать. Все передавалось в автомобиль, а после этого дядя Эйнар говорил: «Теперь приходите! Сафари!»

Он укутывал в норковую шубу тетю Анну-Лису, Кузинулла хныкала изо всех сил. И вот мы пускались в путь.

Мне разрешалось занять переднее сиденье рядом с ним. Он управлял машиной разумно, беззаботно и поддерживал довольно большую скорость.

Мы не разговаривали однажды до самого Куэнгена, когда дядя Эйнар спросил меня, чем я планировала заняться в этот день. Я сказала, что у меня предварительный экзамен, а он спросил, важен ли он для моей работы или же важна просто отметка; я сказала, что только отметка, и этим дело закончилось.

Но потом все очень осложнилось. Дом дяди Эйнара совершенно замерз, был холодный как лед, Андерсон не нарубил дров и не разжег огонь в печке, как обещал.

— Оставайся в машине, — сказал дядя Эйнар.

Он пошел в дровяной сарай, и вскоре я услышала, как он рубит дрова. А я знала, что он любит рубить дрова.

Получилось очень хорошее сафари.

Дядя Эйнар разжег огонь в открытой печке, чтобы дрова разгорелись как следует. Он дал нам горячий ром с имбирем и маслом (Кузинулла пила теплый сок), а потом отправился на кухню готовить фазана.

Но я все время не могла успокоиться из-за Андерсона, который не выполнил своей работы. Понимал ли Андерсон, что он наделал и что теперь рази навсегда дядя Эйнар будет его презирать? С другой стороны, в том случае, если дядя Эйнар понял, что благодаря измене Андерсона получилось еще более убедительное сафари, — возможно, это поможет ему отказаться от своего презрения и сохранить самоуважение? Я, во всяком случае, пытаюсь верить в то, что не стоит ни на дюйм отступать от своих принципов, даже если это непрактично. Но как бы то ни было, если смотреть на это с точки зрения общественной морали, я хочу сказать — не перестала ли измена Андерсона быть изменой из-за того, что дядя Эйнар любил рубить дрова?

Я много думала...

Был чудесный весенний вечер, абсолютная тишина, только птицы-длиннохвостки верещали где-то очень далеко. Я решила спать на воле. Недалеко от дровяного сарая была большая сосна с удобно разветвленными ветвями. Дядя Эйнар считал, что это хорошая идея. «Действуй», — сказал он. Обычно где-то часа в четыре утра все равно уходят в дом.

Когда я вошла в дом, то увидела, что мне не постелили постель, и я могла спать где угодно, утром они также ничего не сказали. Солнце светило все время, но стоял ледяной холод. Я плавала между льдинами в заливе, где летом обычно купаются, и дядя Эйнар наверняка заметил, что я плаваю, но он и вида не подал.

А вообще-то это было довольно плохое время, в школе дела шли неважно, и я начала размышлять о ненужных вещах и почти без всякой причины сделалась меланхоликом.

В ту весну дядя Харальд жил рядом со мной на чердаке за стенкой, время от времени мы сталкивались на лестнице, и он говорил тогда: «Привет, привет, дорогая племянница, как дела?» А я отвечала: «Дерьмо и имбирь» (цитата из дяди Торстена), а Харальд отвечал: «У меня встреча с ветерком» и спускался, посвистывая, дальше по лестнице на улицу Норр Меларстранд.

В некотором роде он был самым известным из всех моих дядюшек, возможно, не как преподаватель математики, а как великий яхтсмен, горнолыжник, покоритель горных вершин — в общем, по большому счету, отчаянный смельчак. Харальд был последним ребенком бабушки, он появился на свет, когда братья уже давно стали самостоятельными, и, естественно, он чувствовал себя маленьким и всего боялся, и, плюс ко всему, над ним еще и подтрунивали!

Мне доверили иллюстрировать судовые журналы Харальда. Я придумала его подпись в красках с парусом и горной вершиной.

Моряки в экипаже Харальда любили его и были так же молоды, как он, но со временем они повзрослели, переженились и все такое, и у них уже не было времени на путешествия. Однажды, меланхолической весной, дядя Харальд пришел и мимоходом спросил, как бы я в принципе отнеслась, например, к морскому альпинизму?

Он хотел взять меня с собой. Несмотря на то, что знал: я ни на что не гожусь ни в парусном спорте, ни в слаломе и до смерти боюсь гор, он все-таки хотел, чтобы я была с ним! Я отказалась. А мое сердце чуть не разорвалось от гордости и отчаяния.

В последнюю весну я получила стипендию.

Я прибежала к дяде Эйнару и закричала:

— Посмотри, что я сделала!

— Очень хорошо, — сказал он. — Ничего другого не могу сказать, только «очень хорошо».

Я взяла свою стипендию в самых мелких купюрах, которые только имелись в банке, и, придя домой, швырнула их под самый потолок, и они парили надо мной, как золотой дождь над Данаей, но мне показалось это просто глупым, и я снова побежала к дяде Эйнару и крикнула ему:

— Эй, ты! Что ты сделал, когда первый раз получил собственные деньги?

Он ответил:

— Они жгли мне карман, я должен был избавиться от них как можно скорее, я должен был купить самое важное.

А затем он пошел и купил дурацкую бутылочку с розовым маслом.

Я считаю, что он поступил совершенно правильно.

Некоторые говорят, что дядя Эйнар сноб, и я надеюсь, что смогу идти дальше этим же путем.

1. Мать Туве Янссон, как известно, была из семьи Хаммарстенов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Название Каролинского университета в просторечии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Лилейный ястребок (шв.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Глиняный кукушонок (шв.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Яблочный залив (шв.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Известный шведский лирик (1890—1976), использовавший в своих песнях мотивы из жизни моряков. [↑](#footnote-ref-6)
7. Коровий луг (шв.). [↑](#footnote-ref-7)